# Домициан

Домициан родился в десятый день до ноябрьских календ, когда отец его был назначенным консулом и должен был в сле­дующем месяце вступить в должность; дом, где он родился, на Гранатовой улице в шестом квартале столицы, был им потом об­ращен в храм рода Флавиев. Детство и раннюю молодость про­вел он, говорят, в нищете и пороке: в доме их не было ни одного серебряного сосуда, а бывший претор Клодий Поллион, на ко­торого Нероном написано стихотворение “Одноглазый”, хранил и изредка показывал собственноручную записку Домициана, где тот обещал ему свою ночь; некоторые вдобавок утверждали, что его любовником был и Нерва, будущий его преемник.

Его управление государством некоторое время было неровным: достоинства и пороки смешивались в нем поровну, пока, наконец, сами достоинства не превратились в пороки — можно думать, что вопреки его природе жадным его сделала бедность, а жестоким — страх.

Зрелища он устраивал постоянно, роскошные и велико­лепные, и не только в амфитеатре, но и в цирке. Здесь, кроме обычных состязаний колесниц четверкой и парой, он представил два сражения, пешее и конное, а в амфитеатре еще и морское. Травли и гладиаторские бои показывал он даже ночью при факе­лах, и участвовали в них не только мужчины но и женщины. На квесторских играх, когда-то вышедших из обычая и теперь возоб­новленных, он всегда присутствовал сам и позволял народу тре­бовать еще две пары гладиаторов из его собственного училища: они выходили последними и в придворном наряде.  На всех гладиаторских зрелищах у ног его стоял мальчик в красном и с удивительно маленькой головкой; с ним он болтал охотно и не только в шутку: слышали, как император его спрашивал, знает ли он, почему при последнем распределении должностей намест­ником Египта был назначен Меттий Руф?

В начале правления всякое кровопролитие было ему не­навистно: еще до возвращения отца он хотел эдиктом запретить приношение в жертву быков, так как вспомнил стих Вергилия:

*Как нечестивый народ стал быков заклать себе в пищу...*

Не было в нем и никаких признаков алчности или скупости, как до его прихода к власти, так и некоторое время позже: напро­тив, многое показывало, и не раз, его бескорыстие и даже велико­душие.

Однако такому милосердию и бескорыстию он оставался верен недолго. При этом жестокость обнаружил он раньше, чем алчность. Ученика пантомима Париса, еще безусого и тяжело больного, он убил, потому что лицом и искусством тот напоми­нал учителя. Гермогена Тарсийского за некоторые намеки в его “Истории” он тоже убил, а писцов, которые ее переписывали, велел распять. Отца семейства, который сказал, что гладиатор-фракиец не уступит противнику, а уступит распорядителю игр, он приказал вытащить на арену и бросить собакам, выставив над­пись: “Щитоносец — за дерзкий язык”.

После междоусобной войны свирепость его усилилась еще более. Чтобы выпытывать у противников имена скрываю­щихся сообщников, он придумал новую пытку: прижигал им срам­ные члены, а некоторым отрубал руки. Как известно, из видных заговорщиков помилованы были только двое, трибун сенатор­ского звания и центурион: стараясь доказать свою невинов­ность, они притворились порочными развратниками, презираемы­ми за это и войском и полководцем.

Свирепость его была не только безмерной, но к тому же изощренной и коварной. Управителя, которого он распял на кресте, накануне он пригласил к себе в опочивальню, усадил на ложе рядом с собой, отпустил успокоенным и довольным, одарив даже угощеньем со своего стола. Аррецина Клемента, бывшего консула, близкого своего друга и соглядатая, он казнил смертью, но перед этим был к нему милостив не меньше, если не больше, чем обычно, и в последний его день, прогуливаясь с ним вместе и глядя на доносчика, его погубившего, сказал: “Хочешь, завтра мы послушаем этого негодного раба?”

Росту он был высокого, лицо скромное, с ярким румян­цем, глаза большие, но слегка близорукие. Во всем его теле были красота и достоинство, особенно в молодые годы, если не счи­тать того, что пальцы на ногах были кривые; но впоследствии лысина, выпяченный живот и тощие ноги, исхудавшие от дол­гой болезни, обезобразили его.  Он чувствовал, что скромное выражение лица ему благоприятствует, и однажды даже похвас­тался в сенате: “До сих пор, по крайней мере, вам не приходи­лось жаловаться на мой вид и нрав...” Зато лысина доставляла ему много горя, и если кого-нибудь другого в насмешку или в обиду попрекали плешью, он считал это оскорблением себе. Он издал даже книжку об уходе за волосами, посвятив ее другу, и в утешение ему и себе вставил в нее такое рассуждение:

*“Видишь, каков я и сам красив и величествен видом? —*

А ведь мои волосы постигла та же судьба! Но я стойко терплю, что кудрям моим суждена старость еще в молодости. Верь мне, что ничего нет пленительней красоты, но ничего нет и недолго­вечней ее”.

Утомлять себя он не любил: недаром он избегал ходить по городу пешком, а в походах и поездках редко ехал на коне, и чаще в носилках. С тяжелым оружием он вовсе не имел дела, зато стрельбу из лука очень любил. Многие видели не раз, как в своем Альбанском поместье он поражал из лука по сотне

Накануне гибели ему подали грибы; он велел оставить их на завтра, добавив: “Если мне суждено их съесть”; и обернув­шись к окружающим, пояснил, что на следующий день Луна обагрится кровью в знаке Водолея, и случится нечто такое, о чем будут говорить по всему миру. Наутро к нему привели герман­ского гадателя, который на вопрос о молнии предсказал пере­мену власти; император выслушал его и приговорил к смерти..  Почесывая лоб, он царапнул по нарыву, брызнула кровь: “Если бы этим и кончилось!” — проговорил он. Потом он спросил, который час; был пятый, которого он боялся, но ему нарочно сказали, что шестой. Обрадовавшись, что опасность миновала, он поспешил было в баню, но спальник Парфений остановил его, сообщив, что какой-то человек хочет спешно сказать ему что-то важное. Тогда, отпустивши всех, он вошел в спальню и там был убит.

О том, как убийство было задумано и выполнено, рас­сказывают так. Заговорщики еще колебались, когда и как на него напасть — в бане или за обедом; наконец, им предложил совет и помощь Стефан, управляющий Домициллы, который в это время был под судом за растрату. Во избежание подозрения он притворился, будто у него болит левая рука, и несколько дней подряд обматывал ее шерстью и повязками, а к назна­ченному часу спрятал в них кинжал. Обещав раскрыть заговор, он был допущен к императору; и пока тот в недоумении читал его записку, он нанес ему удар в пах.  Раненый пытался со­противляться, но корникуларий Клодиан, вольноотпущенник Парфения Максим, декурион спальников Сатур и кто-то из гла­диаторов набросились на него и добили семью ударами. При убий­стве присутствовал мальчик-раб, обычно служивший спальным ларам: он рассказывал, что при первом ударе Домициан ему крикнул подать из-под подушки кинжал и позвать рабов, но под изголовьем лежали только пустые ножны, и все двери ока­зались на запоре; а тем временем император, сцепившись со Стефаном, долго боролся с ним на земле, стараясь то вырвать у него кинжал, то выцарапать ему глаза окровавленными пальцами.

Погиб он в четырнадцатый день до октябрьских календ, на сорок пятом году жизни и пятнадцатом году власти. Тело его на дешевых носилках вынесли могильщики. Филлида, его кормилица, предала его сожжению в своей усадьбе по Латин­ской дороге, а останки его тайно принесла в храм рода Флавиев и смешала с останками Юлии, дочери Тита, которую тоже вы­кормила она.